

В. Г. Белинский

**Ничто о ничем,
или Отчет г.**

издателю «Телескопа» за...



Виссарион Белинский

**Ничто о ничем, или Отчет
г. издателю «Телескопа»
за последнее полугодие
(1835) русской литературы**

«Public Domain»

1835

Белинский В. Г.

Ничто о ничем, или Отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы / В. Г. Белинский — «Public Domain», 1835

Большую часть статьи занимает подробнейший разбор типичного явления «смирдинского» периода русской литературы – журнала Сенковского «Библиотека для чтения». Критикуя аристократические нападки на «торговое направление» в современной литературе, Белинский основной вред «Библиотеки для чтения» усматривает в беспринципности Сенковского, которая развращает читателя, наносит вред обществу. Он подчеркивает пустословие и недобросовестность критики Сенковского. Все это неприемлемо для Белинского не только потому, что журнал, по его понятиям, должен отличаться единством направления, но и потому, что он прекрасно видит, куда ведет беспринципность Сенковского. Сенковский выступает верным соратником Булгарина, последовательным защитником казенно-благонамеренной литературы. Белинский ратует за журнал с четким прогрессивным направлением. Принципиальная задача такого журнала – создать литературу, проникнутую гуманистическими и демократическими идеалами.

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9
Комментарии	

Виссарион Григорьевич Белинский

Ничто о ничем, или отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы

I

Вы обязали меня сделать легкий и короткий обзор хода нашей литературы, во время вашего пребывания за границей, и привели меня тем в крайнее затруднение. Разве вам не известно, что *ничто не ново под луною*? Каких же хотите вы новостей от русской литературы, и в такой короткий период ее существования? «Тем лучше для вас, тем меньше вам труда», скажете вы. Нет, вы неправы: труда от этого мне не только не меньше, но предстоит истинно геркулесовский подвиг: я должен написать статью, а из чего я вам напишу ее, о чем буду повествовать вам в ней? *О ничем?*.. Итак, надо сделать *что-нибудь* из *ничего*? – Помните ли вы, как один из знаменитейших наших писателей, из первостатейных гениев, уgomонил насмерть свою литературную славу тем, что вздумал писать о *ничем*, и весь вылился в *ничто*?..^[1] Конечно, я не пользуюсь литературного славою и, следовательно, не подвергаюсь опасности посадить ее на мель рокового *ничто*; но у меня другой страх, и очень основательный. Если я не пользуюсь ни тению той лучезарной славы, которою сиял некогда помянутый великий писатель, то вместе не имею и искры его гения, который нашелся, хотя и в конечной погибели своей репутации, высказаться в *ничем* на нескольких страницах. Притом же, хотя я, в отсутствие ваше, волею или неволею, играл роль сторожа на нашем Парнасе, окликая всех проходящих и отдавая им, свою алебардою, честь по их званию и достоинству, хотя неумоимо и неусыпно стоял на своем посту; однакож многое ускользнуло от моей бдительности. Бывало, нахлынет целая толпа – и тут некогда было расспрашивать каждого порознь; стукнешь алебардою по всем и пропустишь. А теперь неужели мне надо делать поголовную переключку, бегать по всем закоулкам и собирать народ православной? Нет – отрекаюсь от этого труда; и так было много хлопот и, может быть, много шуму из пустяков! – Да и притом возможное ли это дело? Много ли из тех, которые промчались мимо моей сторожки, остались теперь в живых?.. Итак, я скажу вам только разве о тех лицах, которые особенно врезались в моей памяти, буду повествовать только о тех событиях и случаях, которые особенно поражали мое внимание. Мой обзор будет отрывчат, беспорядочен и несвязен, как всякий рассказ наскоро о предмете многосложном, разнообразном и ничтожном.

Итак, я *обозреваю*, становлюсь *обозревателем*! – *Обозревать, обозреватель* — вы помните, как громко звенели некогда эти два словца в нашей литературе? – Кто не обозревал тогда? Где не было обозрений? Какой журнал, какой альманах не имел своего штатного обозревателя? – И это была должность нетрудная, легкая, казенная; за нее брался всякой, не запасаясь дорогим лорнетом учености, даже иногда вовсе без очков грамматики и здравого смысла! – Отчего ж теперь так мало пишется обозрений? Куда девались все эти обозреватели? – Я прошу у вас позволения заняться предварительно разрешением этого любопытного вопроса, хотя по крайней мере для того, чтоб наполнить мою статью объяснением причин, почему она не может быть *ничто*?

Обозрения всякого рода бывают результатом или сознания силы, или сомнения в ней. Кто часто пересчитывает свои деньги, поверяет счета и подводит итоги, тот или богатеет день от дня, или беднеет; само собою разумеется, что в первом случае он хочет удостовериться в

улучшении своего состояния и определить степень этого улучшения, а во втором случае хочет измерить глубину своего падения, хочет взглянуть в бездну, отверстую перед ним, как бы с намерением приучить себя заранее к ее ужасному виду или как будто находя жестокое наслаждение в сознании своего бедственного положения, веселясь собственным своим отчаянием. У нас была уже литература, был Ломоносов, Сумароков, Херасков, Петров, Державин, Фонвизин, Хемницер, Богданович, Капнист; потом Карамзин, Дмитриев, Крылов, Озеров, Мерзляков и, наконец, Батюшков и Жуковский: все эти люди пользовались почти равным участком славы, всеми ими восхищались почти в равной степени, по крайней мере все они слыли равно за *художников* и *гениев* (или, по-тогдашнему, за *образцовых писателей*). Критиковать тогда значило хвалить, восхищаться, делать возгласы, и много-много, если указывать на некоторые неудачные стишки в целом сочинении или на некоторые слабые места, с советом поэту, как их *починить*. Понятия о творчестве тогда были готовые, взятые напрокат у французов; критики не было, потому что критика более или менее есть сестра сомнению, а тогда царствовало полное убеждение в богатстве нашей литературы как по количеству, так и по качеству; литературных обозрений тогда тоже не было и не могло быть, потому что в обозрение всегда входит критика, а вместо их иногда случались по временам, и то редко, реестры писателей и их писаний, перемешанные с известным числом хвастливых восклицаний. Мерзляков вздумал было напасть на авторитет Хераскова и, взявши ложные основания, высказал много умного и дельного, но как его критицизм был явным анахронизмом, то и не принес никаких плодов. Но вдруг все переменялось: явился Пушкин, и вместе с ним так называемый *романтизм*. В чем состоял этот романтизм? В отношении к Пушкину этот романтизм состоял в том, что изо всех наших поэтов Пушкина одного можно было назвать поэтом-художником и не ошибиться, что он, вместо того чтобы писать громкие и торжественные оды на современные события, обыкновенно или теряющие свою прелесть для потомства, или представляющиеся ему в другом свете, стал говорить нам о чувствах общих, человеческих, всем более или менее доступных, всеми более или менее испытанных; что он напал на истинный путь и, будучи рожден поэтом, свободно следовал своему вдохновению. Да! воля ваша, а я крепко убежден, что *народ* или *общество* есть самый лучший, самый непогрешительный критик. Я однажды высказал, или, лучше сказать, повторил чужую мысль^[2], что *Державина спасло его невежество*: отрекаюсь торжественно от этой мысли, как совершенно ложной. Державин не был учен, но находился под влиянием современной ему учености, разделял верования и мнения своего времени об условиях творчества и назло своему гению всю жизнь свою шел по ложному пути. Поэтому те из его созданий, которые противоречили современной ему эстетике, отличаются истинною поэзией. Возьмите, например, «Водопад»: похоже ли это на оду, дифирамб, кантату? Это просто элегия, которая по своей форме и своему духу только тем отличается от элегий даже самых крошечных наших поэтиков, что запечатлена гением Державина. И зато как прекрасна и глубока эта элегия! – Но возьмите его торжественные оды: что это такое? Посмотрите, как он в них никогда не мог поддержать до конца своего напряженного восторга, как он в конце каждой из них падал и, начавши высоко и громко, оканчивал ровно ничем! – И кто станет теперь читать эти торжественные оды?.. Измаил, Прага, Рымник, Кагул – все эти имена напоминают о действиях великих; но то ли они, эти великие действия, для нас, чем были для современников? Мы, юноши нынешнего века, мы, бывши младенцами, слышали от матерей наших не об Измаиле, не о Кагуле, не о Рымнике, а об двенадцатом годе, о Бородинской битве, о сожжении Москвы, о взятии Парижа. Эти события и ближе к нам по времени и поважнее прежних в своей сущности; да и они слабеют уже в нашем воображении, заглушаемые громами араратскими, забалканскими, варшавскими. Но поэзия всех этих великих происшествий сама по себе так необъятна, что ее трудно уловить, увековечить в звуках. Сверх того, мы уже уверились теперь, что факт или событие сами по себе ничего не значат: важна идея, выражаемая ими. Итак, что же значат все эти торжественные оды, какой интерес могут иметь для потомства все эти гро-

могласные описания? Скажут: это питает народную гордость, дает наслаждение святому чувству любви к отечеству. Русские брали непреодолимые твердыни и всему свету доказали свою храбрость; это подвиги, которые поэзия должна передавать потомству: очень хорошо! но ведь храбрость есть неотъемлемое свойство русских; но ведь они доказывали ее всегда и везде, как только был случай; но ведь ничтожная горсть русских удержала за Россию Грузию и уничтожила все попытки персидской армии; но ведь ничтожная же горсть русских отбила Армению и защитила ее против Персии и Турции?.. Эти подвиги у нас так часты, так обыкновенны; они составляют ежедневную жизнь народа русского... Да! Державин шел путем слишком тесным: он льстил современности, напал на интересы частные, современные, и редко прибегал к интересам общим, никогда не стареющим, никогда не изменяющимся – к интересам души и сердца человеческого! И в этом виновата ученость века, которой он был непричастен, но под влиянием которой он всегда находился. Не зная по-латыни, он подражал Горацию, потому что тогда все подражали Горацию; не постигнув духа и возвышенной простоты псалмов Давида, он перелагал их с прозы на громкие, напыщенные стихи, потому что все наши поэты, начиная с Ломоносова, делали это, не говоря уже о французах. Гораций воздвигнул себе *памятник*, Державин тоже; но что у первого было, вероятно, вдохновением, то у второго было подражанием. Обратимся назад. Итак, романтизм, в отношении к Пушкину, состоял в том, что он искал поэзии не в современных и преходящих интересах, а в вечном, неизменяемом интересе души человеческой¹^{38}. В отношении к другим поэтам, вышедшим вслед за Пушкиным, романтизм состоял в том, что ода была решительно заменена элегией, высокопарность унылостью, жесткий, ухабистый и неуклюжий стих гармоническим, плавным, гладким. В отношении к целой литературе романтизм состоял в том, что было отвергнуто, как нелепость, драматическое триединство, хотя не было написано ни одной хорошей драмы. Итак, вот весь наш романтизм! Тогда явилось множество поэтов (стихотворцев и прозаиков), стали писать в таких родах, о которых в русской земле дотоле было видом не видать, слухом не слыхать. Тогда-то наши критики пустились в обозрения: они увидели, что у нас есть писатели и в классическом и в романтическом роде, и захотели поверить свое родное богатство, подвести его итоги. Это была эпоха очарования, упоения, гордости: новость была принята за достоинство, и эти поэты, которых мы теперь забыли и имена и творения, казались чем-то необыкновенным и великим. И это было очень естественно: новость направления и духа сочинений всегда бывает камнем преткновения для критики.

Итак, очень ясно, что раннее очарование, непрочные надежды родили гордость и самоуверенность в наших критиках; а гордость и самоуверенность породили множество обозрений. Только один Пушкин был предметом достойным и обозрений, и критик, и споров, а между тем все шло зауряд в обозрения. И разумеется, эти обозрения были важны, горды и веселы, как молодые надежды, как неопытная юность, гордящаяся силами, еще не удостоверясь в них. Новость за новостью, поэма за поэмою, роман за романом, повесть за повестью, альманах за альманахом, журнал за журналом, а элегии и отрывки без числа, без меры, и все это возбуждало участие, восторг, удивление, потому что все это было ново. Следовательно, обозревателю было, что обозреть, было о чем потолковать. Одна голая и сухая перечень годовых явлений литературного мира могла составить статейку; а, разведенная фразами, разжиженная чувствованьями, сдобренная теориями и идеями, эта перечень превращалась в большую статью. И эту статью читали наперерыв и с гордостью повторяли находившиеся в ней итоги и возгласы.

Между тем начиналась уже и критика. Так как романтизм привел за собой эманципацию, то естественным образом начало закрадываться сомнение насчет достоинства писателей

¹ Этот вопрос будет подробно рассмотрен нами в особенной статье о Пушкине, которая уже пишется. – Б.^{38}

^{38} Замысел написать «особенную статью» о Пушкине Белинский осуществил позднее, в 1843–1846 годах (см. т. III наст. изд.).

прежней школы. Нападая на классицизм, стали нападать и на классиков, не подозревая, что, с немногими исключениями, выигрыш состоял только в Пушкине, а что все остальное была та же старина, только на новый лад. Но пока управлялись со стариками, И новички успели состариться и наскучить. Разумеется, это совершилось не вдруг, а постепенно. Тогда обозрения начали терять свой кредит, и вместо их начала усиливаться основательная критика.

Итак теперь – что теперь обозревать? Нового уж нет ничего, все старо. У меня страстная охота писать, и я во что бы то ни стало хочу написать роман – но что же? Я во всем предупрежден! Хочу писать роман исторический – старо; перерываю все эпохи русской истории – старо; хочу писать роман нравоописательный и нравственно-исторический – но и это старо и пошло; хочу писать роман географический, статистический, топографический – опять старо; вздумал было однажды нравственно-фантастический – но и тут какой-то злодей предупредил меня; хочу писать подземный, представить людей маленьких с мизинец и потом больших с коломенскую версту – куда! этим еще восемнадцатый век воспользовался, а я ничего не хочу иметь общего с восемнадцатым веком; но вот вдруг блеснула светлая мысль: хочу вывести людей допотопных и потом людей ходящих, мыслящих и говорящих вверх ногами – и тут предупредила меня игривая фантазия Барона Брамбеуса^[3]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Как установлено комментаторами, Белинский имеет в виду статейку Булгарина «Ничто, или альманачная статейка о ничем» («Новоселье», 1833). Белинский пародирует болгаринское название в своем заглавии.

2.

В «Литературных мечтаниях» Белинский развил эту мысль Н. Полевого, писавшего, что не получивший «никаких пособий образования» Державин проявил природный гений («Московский телеграф», 1832, № 15 и 16).

3.

Белинский иронизирует здесь над романами Булгарина «Иван Выжигин» и «Димитрий Самозванец», а также над фантастическими повестями Брамбеуса «Фантастические путешествия», «Большой выход у Сатаны» и др.

38.

Замысел написать «особенную статью» о Пушкине Белинский осуществил позднее, в 1843–1846 годах (см. т. III наст. изд.).